Морок В. Е



ЗЕМЛЯ — ОЙКУМЕНА

Морок В.Е

Земля - Ойкумена

«Автор»
2026

Морок В.Е

Земля - Ойкумена / Морок В.Е — «Автор», 2026

«Тысяча мест на четырнадцать тысяч заявок. Цифры решают сами».2154 год. Земля — токсичная пустошь, где люди годами стоят в очередях за лотереей медицинских виз на Ойкумену — стерильную космическую станцию для избранных.Доктор Химена Ортега тайно подтасовывает списки победителей, спасая тех, кто нужен району. Она верит, что играет в милосердие. Но на станции аудитор Тея Вандерхейден находит невязку в балансе ресурсов. То, что она раскопает, перевернет всё: «исцеленные» не спасаются. Их готовят к «замещению».Две женщины по разные стороны стекла. Одна выбирает, кто достоин жить. Другая считает, сколько это стоит. Им предстоит узнать, что в замкнутой системе не исчезает ничто — ни вода, ни воздух, ни вина. Всё переходит в графу «Прочее».Роман о милосердии, которое научилось считать, и о цене арифметики.

© Морок В.Е, 2026
© Автор, 2026

Содержание

Введение 5
Глава 1. Тысяча мест 7
Глава 1. Тысяча мест 8
Глава 2. Невязка 13
Глава 3. Карантин 17
Глава 4. Статья расходов 20
Конец ознакомительного фрагмента. 21

Морок В.Е
Земля - Ойкумена

Введение

Снизу

Очередь стоит давно. Дольше, чем стоят в ней люди: места в ней передают, как передают имена и долги, от матери к дочери, от отца к сыну, и некоторые рождаются уже в шести тысячах шагов от арки. Она начинается у реки, которой нет, и кончается у белых арок, которые есть. Между ними асфальт, бочки с горящим пластиком, похлёбка, в которой плавает то, чему не дали названия, и хлорка. Хлоркой дроны-санитары поливают землю перед центром, и воздух от этого становится чище и невыносимее.

Гул без слов: кашель, шёпот, плач младенца, чей-то счёт вполголоса. Человек считает шаги, чтобы не считать ничего другого.

Над очередью ходят белые дроны. Каждый, замирая над кем-то, издаёт мягкий звон, как лифт в доме, которого больше нет, и вокруг стихают. Все выучили этот звук. Все знают, что он означает: тебя прочли. Кого-то прочли хорошо. Остальных читают дальше.

Тысяча мест на четырнадцать тысяч заявок. Цифры решают сами. Это удобно: никого нельзя обвинить.

Сверху

Там тихо. Не так, как бывает ночью: так, как бывает в комнате, из которой вынули звук. Ниже восемнадцати децибел, по гарантии производителя. Воздух проходит столько фильтров, что перестаёт пахнуть, и это ценят: запах считается дефектом. Сады тянутся по внутренней стороне тора на шесть километров. Магнолии цветут круглый год, по контракту, и пахнут одинаково на любом расстоянии: так пахнет слово «магнолия», а не цветок. Хлеб за столом называют по месту, где его испекли, как называют фамилии гостей.

Люди ходят медленно. Те, кому никогда не приходилось успевать, двигаются так, будто воздух чуть гуще обычного. У них ровная кожа, одинаково белые зубы, одинаково отдохнувшие глаза. Окна, обращённые вниз, затемнены. Включить «нижний вид» может любой житель, подав заявку, и заявок почти не бывает. Планета висит под ними, огромная и бурая, и на неё не смотрят. Это называется хорошим тоном.

Станция зовётся Ойкуменой: «обитаемый мир». Внизу её никак не зовут. На неё не смотрят: по утрам над горизонтом висит серебряная нить, тоньше царапины на стекле, и очередь глядит под ноги.

Между

Между ними нет дороги. Есть расписание: челнок раз в сутки, тысяча мест раз в год, четыре слова по тихой почте и никаких вопросов. Раз в год сверху опускают милосердие. Оно красиво и недорого: на приёмах его называют благотворительностью, и никто не возражает, потому что возражать нечему.

Есть белые дроны-уборщики. Они ходят в обе стороны и возят пыль: вверх пыль Лос-Анджелеса, вниз пыль станции. Пыль нигде не подписана. Её никто не читает.

Внизу кто-то считает пульсы. Наверху кто-то считает кислород. Оба умеют считать. Оба верят, что цифры не лгут, и в чём-то правы: цифры не лгут. Они просто не говорят о том, чего в них не вписали.

Всякая замкнутая система обязана сходиться до последнего знака. Это закон, а не пожелание: в замкнутой системе ничто не исчезает бесследно. Вода, воздух, хлеб, время, чей-то

сын в очереди, чьё-то место в списке: всё переходит в другую графу. Бухгалтерия знает это лучше физики.

Вопрос только в том, в какую. Чаще всего в ту, что называется «Прочее».

Глава 1. Тысяча мест

Снизу

Очередь стоит давно. Дольше, чем стоят в ней люди: места в ней передают, как передают имена и долги, от матери к дочери, от отца к сыну, и некоторые рождаются уже в шести тысячах шагов от арки. Она начинается у реки, которой нет, и кончается у белых арок, которые есть. Между ними асфальт, бочки с горящим пластиком, похлёбка, в которой плавает то, чему не дали названия, и хлорка. Хлоркой дроны-санитары поливают землю перед центром, и воздух от этого становится чище и невыносимее.

Гул без слов: кашель, шёпот, плач младенца, чей-то счёт вполголоса. Человек считает шаги, чтобы не считать ничего другого.

Над очередью ходят белые дроны. Каждый, замирая над кем-то, издаёт мягкий звон, как лифт в доме, которого больше нет, и вокруг стихают. Все выучили этот звук. Все знают, что он означает: тебя прочли. Кого-то прочли хорошо. Остальных читают дальше.

Тысяча мест на четырнадцать тысяч заявок. Цифры решают сами. Это удобно: никого нельзя обвинить.

Сверху

Там тихо. Не так, как бывает ночью: так, как бывает в комнате, из которой вынули звук. Ниже восемнадцати децибел, по гарантии производителя. Воздух проходит столько фильтров, что перестаёт пахнуть, и это ценят: запах считается дефектом. Сады тянутся по внутренней стороне тора на шесть километров. Магнолии цветут круглый год, по контракту, и пахнут одинаково на любом расстоянии: так пахнет слово «магнолия», а не цветок. Хлеб за столом называют по месту, где его испекли, как называют фамилии гостей.

Люди ходят медленно. Те, кому никогда не приходилось успевать, двигаются так, будто воздух чуть гуще обычного. У них ровная кожа, одинаково белые зубы, одинаково отдохнувшие глаза. Окна, обращённые вниз, затемнены. Включить «нижний вид» может любой житель, подав заявку, и заявок почти не бывает. Планета висит под ними, огромная и бурая, и на неё не смотрят. Это называется хорошим тоном.

Станция зовётся Ойкуменой: «обитаемый мир». Внизу её никак не зовут. На неё не смотрят: по утрам над горизонтом висит серебряная нить, тоньше царапины на стекле, и очередь глядит под ноги.

Между

Между ними нет дороги. Есть расписание: челнок раз в сутки, тысяча мест раз в год, четыре слова по тихой почте и никаких вопросов. Раз в год сверху опускают милосердие. Оно красиво и недорого: на приёмах его называют благотворительностью, и никто не возражает, потому что возражать нечему.

Есть белые дроны-уборщики. Они ходят в обе стороны и возят пыль: вверх пыль Лос-Анджелеса, вниз пыль станции. Пыль нигде не подписана. Её никто не читает.

Внизу кто-то считает пульсы. Наверху кто-то считает кислород. Оба умеют считать. Оба верят, что цифры не лгут, и в чём-то правы: цифры не лгут. Они просто не говорят о том, чего в них не вписали.

Всякая замкнутая система обязана сходиться до последнего знака. Это закон, а не пожелание: в замкнутой системе ничто не исчезает бесследно. Вода, воздух, хлеб, время, чей-то сын в очереди, чьё-то место в списке: всё переходит в другую графу. Бухгалтерия знает это лучше физики.

Вопрос только в том, в какую. Чаще всего в ту, что называется «Прочее».

Глава 1. Тысяча мест

Дорога к центру квот шла по дну реки.

Бетонное русло тянулось через весь город, как вскрытая вена, из которой давно ушла кровь. Склоны потрескались, в швах между плитами росла серая трава, жёсткая и ломкая, как проволока. Химена спускалась сюда каждое утро из Бойл-Хайтс, где снимала две комнаты над мастерской по ремонту фильтров, и каждый раз ставила ногу на одну и ту же плиту — единственную без надписей. Остальные были исписаны углём и краской: имена, даты, номера заявок. Всё чаще просто «ждём».

Пять утра, небо над эстакадами цвета ржавой воды. Сами эстакады обрывались в смоге на полуслове: бетонные рукава, повисшие над пустотой, с торчащей арматурой, на которой ночевали вороны, крупные, облезлые, с чересчур умными глазами. На уцелевшем пролёте кто-то развесил бельё, и ветер раздувал над городом единственную белую простыню. В этом было что-то от капитуляции.

Внизу уже раскладывался рынок. Старик Фаусто торговал водой: пластиковые мешки на ремне, мерная кружка с насечками, мел, которым он вёл счёт на борту тележки. Цена за ночь выросла. Накануне лотереи дорожало всё — вода, стимуляторы, чистые рубашки для тех, кто верил, что в чистом легче пройти сканирование. Женщина в двух платках жарила на жестяном листе личинок, и запах горячего жира и пережжённой соли стелился над руслом, заменяя завтрак тем, кому на настоящий не хватало. Мальчишка продавал носовые фильтры поштучно и повторял, как заклинание: «Свежие, с углём, свежие». Хромой сборщик скупал медь, повесив на шею связку проводов, как гирлянду.

Над рынком работали дроны Службы порядка, серые, угловатые, с красным глазом под брюхом. Они плыли над рядами не торопясь, как рыбы над мелководьем, и не стреляли: им не нужно было. Когда тень такого дрона ложилась на лоток, торговец склонялся к товару, словно извиняясь перед собственными весами, и разговоры стихали ровно на столько, сколько длилась тень. Потом торг возвращался вместе с кашлем и ржавым дребезжанием тележек.

Химена шла в серой куртке, халат лежал свёрнутым в сумке. Надевать его она будет у ворот. В халате ходили те, кого просят.

— Доктор! Доктор Ортега!

Женщина с пёстрым узлом догнала её у спуска к мосту. Лицо смутно знакомое, из тех, что Химена видела в очередях и ни разу не запомнила. Женщина совала ей что-то в тряпице: ещё тёплую лепёшку, пахнущую кукурузной мукой и дымом.

— Для вас. Мой Эмилио в списках, четыреста двенадцатый, вы только посмотрите...

— Я ничего не беру, — сказала Химена. Голос получился ровным и усталым. Она выучила его так, как учатся хромать: сначала нарочно, потом навсегда. — И ничего не обещаю.

— Я не за обещанием.

— Вот именно.

Она пошла дальше, пока лепёшка не успела запахнуть слишком сильно. Она никогда ничего не брала: ни хлеба, ни денег, ни благодарности, и об этом знал весь район. Одни считали её святой, другие ледяной. Её устраивало и то и другое. И то и другое держало людей на расстоянии вытянутой руки.

Центр стоял там, где русло кончалось. Его засыпали щебнем ещё при прадедах, чтобы устроить площадь, но люди по-прежнему называли этот край берегом и стояли на нём так, словно ждали переправы.

Химена шла вдоль очереди служебным проходом. Рифлёный пластик ограждения мелко дрожал от чужого дыхания. Пахло тем, чем пахнет надежда у людей, ночевавших на асфальте: потом, керосиновой копотью, палёным пластиком из бочек, где грели похлёбку, а поверх всего, перебивая остальное, хлоркой. Дроны-санитары поливали ею землю перед центром, и воздух от этого становился чище и невыносимее.

Над головами скользили медицинские дроны, белые и гладкие, как речная галька. Каждое сканирование отмечал мягкий колокольчик. Дзынь — ребёнок с лихорадкой. Дзынь — старик с опухолью под ключицей. Приятный звук: такой издавал лифт в домах, которых больше нет. Когда дрон замирал над кем-то, вокруг стихали, как стихают перед священником, идущим с причастием.

За пластиком стоял гул без слов: шёпот, кашель, плач младенца, чей-то счёт вполголоса. «Сто сорок. Сто сорок один». Человек считал шаги, чтобы не считать ничего другого. Кто-то спал стоя, привалившись к плечу соседа, и сосед терпел. У бочки две женщины молча делили одну лепёшку на четверых. Старик в пальто, помнившем лучшие времена, держал на груди картонку с аккуратной надписью: «Печень. 71 год. Прошу не из жалости, а по закону». Никто не смеялся.

Химена держала подбородок так, чтобы взгляд ложился поверх голов. Этому учатся быстро: лица запоминаются, плечи нет.

У горизонта, где рассвет промыл полоску неба до бледной голубизны, висела серебряная нить. В этот час Ойкумена не больше царапины на стекле. На него никто не смотрел. Это тоже было формой приличия, которой здесь научились.

У служебных ворот в будке сидел Дюран: широкий, медлительный, с лицом, оплывшим к подбородку. Девять лет он держал в ладонях одну и ту же жестяную кружку с чаем, заваренным на коре корицы, потому что настоящий чай стоил как почка. Каждое утро он двигал кружку по стойке на два пальца в её сторону. Каждое утро Химена кивала и проходила мимо. Девять лет они разговаривали одним жестом.

Сейчас она достала из сумки халат и надела. Белая ткань, выглаженная накануне до хруста, легла на плечи, и осанка собралась сама, как у куклы, которую поставили на подставку.

— Утро, доктор. Шумно сегодня. Говорят, семнадцать тысяч.

— Четырнадцать. Остальные пришли постоять.

Он кивнул, будто принял поправку к закону. Потом, помедлив, спросил, глядя в кружку:

— Моя девчонка слышала в школе, что вы ни разу не плакали. За все годы. Правда?

— Слёзы не входят в мои обязанности.

Дюран хмыкнул, но не засмеялся.

— Люди говорят, вы им как стена, — сказал он. — Хорошая стена. С ней спокойнее. Только я иногда думаю: а с той стороны вам как?

Химена приложила пропуск к замку. Тот мигнул зелёным. Ладонь на секунду задержалась на холодном металле.

— С той стороны тихо, Дюран, — сказала она и вошла.

В зале сканирования было светло и холодно. Белый кафель, белые дуги арок, ровный гул вентиляции. Стерильность здесь была не гигиеной, а доктриной. Люди проходили сквозь арки по одному, и на выходе каждому на запястье защёлкивали бирку с номером. Тысяча мест на четырнадцать тысяч заявок. Цифры решали сами, и потому никого нельзя было обвинить.

Химена шла вдоль арок с тонкой панелью в руке, отмечая сбои оборудования. Должность ревизора давала ей право ходить где угодно и ни на кого не смотреть.

— Доктор Ортега.

Она остановилась на полшага позже, чем следовало.

В очереди к третьей арке стояла женщина лет пятидесяти пяти, в вязаной шапке, натянутой до бровей. Тяжёлые отёки под глазами, пальцы, давно не сжимавшиеся в кулак до конца. Инес Кальдерон. Она учила квартал читать в подвале бывшей прачечной, на стене, которую раз в год перекрашивала в чёрный, чтобы было куда писать. Матео она учила одну зиму, пока он ещё мог сидеть.

— Я не прошу, — тихо сказала Инес. — Только не смотрите на меня так, будто я прошу.

— Я ни на кого не смотрю, — ответила Химена. Это была правда, и от неё стало скверно.

Инес кивнула. Достала из кармана обломок мела и опустилась на корточки, с трудом, придерживаясь за колено. На белой глазури вывела большую «А». Мел взвизгнул, и этот тонкий, школьный звук прошёл по залу как по нервам. Химена почувствовала его зубами.

Стоявший следом мальчик лет девяти дождался, пока Инес закончит, и повторил букву в воздухе пальцем, высунув кончик языка. Пальцы у него были странные: кончики вздутые, как ложки, ногти с синевой. Щербатый, лопоухий, в куртке с чужого плеча, рукава подвёрнуты втрое. В кулаке он мял серебристый фантик от пайка и складывал из него птицу, перегибая ногтем, обкусанным до мяса. Фантик шуршал, как сухая листва, и пах фальшивой ванилью, какой сладят пайковые плитки.

— Нико, стой смирно, — сказала женщина рядом. Мать, не ему, а воздуху, поправляя на нём шапку, словно пыталась накрыть его ладонью целиком.

Каждый раз, когда над ним звенел колокольчик, мальчик поднимал голову и шёпотом называл дрон: «доктор-жук».

— Он нас читает, — сообщил он Химене, заметив её взгляд. Говорил торопливо, как говорят дети, которых мало слушали: пока не перебили. — Мама говорит, дроны читают людей, как книжки. Я не люблю. От этого щекотно.

— Это называется сканированием, — сказала Химена.

— А у вас жука нет. Вы нормальная доктор?

— Я работаю с бумагами.

— А. — Он кивнул, будто это многое объясняло. — А у меня птица. Она ещё не закончена. У неё глаза нет.

Он показал. Серебряная птица на его ладони вышла кривой, одно крыло длиннее другого. Дыхание у мальчика свистело на выдохе, и птица вздрагивала от него, будто собиралась взлететь.

Потом он закашлялся. Сухо, с коротким свистом, потом глубже, влажно, и согнулся, упёршись ладонями в колени. Мать прижала его лицо к рукаву. На ткани осталась тонкая розовая полоска, которую она быстро прикрыла пальцами.

Химена не вздрогнула. Только большой палец вдавился в край панели и оставил на пластике полукруглую вмятину ногтя, как закладку.

— Он писал «М» как две горы, — сказала Инес негромко, не поднимая глаз от кафеля. — Помните? Горы всегда выходили разной высоты. Я говорила: так нельзя, надо ровно. А он смеялся: «Так красивее».

Химена молчала.

— Я не к тому, — сказала Инес. — Просто хочу, чтобы вы знали: я его помню целиком. Не только болезнь. Кто-то же должен.

Семь лет назад очередь сдвинулась на шаг. Химена шагнула вместе с ней, чтобы не потерять место, и на секунду выпустила руку Матео. Секунды хватило.

— «Б», — сказала Инес мальчику, уже отвернувшись. — Видишь? Живот и спинка.

Химена пошла дальше. Она отсчитала двенадцать шагов до конца ряда арок, потому что двенадцать — число, которое можно отсчитать. Походка осталась ровной.

Комната ревизора была без окон: один стол, один стул, один экран. Ничего человеческого здесь не предусматривалось, и ничего человеческого здесь не было. На краю стола стоял стаканчик с кофе, который Химена принесла в семь и так и не тронула.

В десять сорок на экране встала итоговая сортировка. Тысяча зелёных строк, ниже серая черта, ещё ниже все остальные. Колонка баллов тяжести, колонка расчётного срока. Черта проходила под тысячной строкой и ложилась на людей, как нож на хлеб.

Закон давал ревизору право добавить заявителю до пятнадцати баллов «на явную ошибку сканера»: не больше и не чаще, чем способен объяснить усталый врач в конце смены. Химена знала этот пункт лучше собственного адреса.

Она не стала открывать список. Список был у неё в голове, и в нём были не имена, а функции. Тот, кто чинит насосы. Тот, кто делит воду без обмана. Та, что принимает роды в подвале при свече. Парень, которому хватает одного слова, чтобы остановить драку. Та, что учит читать.

— Кальдерон, Инес. Хронический нефрит. Поправка: плюс четырнадцать.

— Поправка внесена, — ответил ровный женский голос. — Для применения подтвердите.

Руки лежали на столе, как чужие. Она вносила поправки одну за другой, и голос повторял одно и то же. После четвёртой на языке появился вкус монеты. После пятой чёрная черта дрогнула.

Строки поползли вниз. Пятеро вошли в тысячу, пятеро вышли из неё. Четверых она заставила себя не читать. Пятую нельзя было не увидеть: она горела прямо под чертой, первая из серых.

«Варгас, Нико. 9 лет. Фиброз лёгких, четвёртая стадия. Расчётный срок: 3–5 недель».

Ни одна из этих строк не была ложью. В этом и состоял весь её метод.

Палец завис над клавишей.

Вентиляция гудела в стене на одной ноте. Химена смотрела на строку и видела, как мальчик складывает птицу из фантика, как перегибает серебро обкусанным ногтем.

Она могла отменить любую поправку. Любую из пяти. Один щелчок, и черта вернётся на место, пятеро останутся под ней, и ни в одном отчёте не появится даже тени другой возможности. Система не мстит за доброту. Она просто не замечает того, чего не вычисляет.

В этом и было её чудовищное удобство. В механизме не было ни одного злодея. Были таблица, порог и человек за столом, которому выдали пятнадцать баллов, как выдают лишнюю ложку каши: чтобы тот, кто раздаёт, мог считать себя добрым.

Семь лет назад Матео умер, не дойдя до арки. Ему не досталось даже строки, чтобы выпасть из неё. Когда она обернулась, он лежал на боку, и сначала ей показалось, что он просто спит. Очередь не остановилась. Очередь никогда не останавливается, она только сдвигается. Кто-то аккуратно переступил через него.

Тогда вдоль очереди ходила другая ревизорша, женщина с серым лицом, которая смотрела поверх голов. Химена ненавидела её так, как можно ненавидеть то, чему не нашлось имени. А потом пришла сюда сама. Ей казалось, что кто-то должен стоять по эту сторону стекла и помнить, как выглядит очередь снизу. Теперь она была той женщиной: серое лицо, взгляд поверх голов. Отличие состояло в том, что у неё было пятнадцать баллов и не хватало смелости ни израсходовать их на всех, ни оставить нетронутыми.

Если считать годы, выигрывал мальчик. Если считать людей, на которых держится подвал, выигрывала Инес. Химена знала, что формула врёт: любую формулу можно переписать так, чтобы в ней выжил тот, кого ты уже решил спасти. Она знала и другое, самое неудобное. Машины Ойкумены не спрашивают, праведен ли больной. Нико встал бы из их машины с лёгкими ребёнка, никогда не дышавшего хлоркой. Это не было прогнозом. Это было единственное, во что она до сих пор верила без оговорок.

— Арифметика, — сказала она пустой комнате. Голос прозвучал ровно, как у постороннего человека.

Подтвердить.

От солнечного сплетения к кончикам пальцев пошла тёплая волна, густая и сладкая, как глоток настоящего спирта. Четырнадцать тысяч заявок, алгоритмы, весь выглаженный механизм Ойкумены, и она нажала на него одним пальцем, и он подался. Химена закрыла глаза.

Потом пришёл стыд. Он подкатил к горлу тошнотой, но дальше не прошёл: она держала горло, как держат дверь. В тёмном углу экрана мелькнуло отражение. Губы расслабились в полуулыбку. Она стёрла её тыльной стороной ладони, как стирают сажу.

В полдень ударил колокол. Не настоящий, а динамик над залом ожидания, который здесь называли площадью, потому что ничего другого, хоть сколько-нибудь похожего на площадь, в округе не осталось. Но звук у него был старый, медный, из тех времён, когда колоколам верили.

Химена стояла в галерее над залом, за односторонним стеклом. Стекло глушило звуки, и всё, что происходило внизу, доходило до неё как из-под воды: слитно, мягко, без углов. На стене-табло потекли зелёные имена. Тысяча строк, по секунде каждая.

Толпа выла, и в этом вое нельзя было отличить счастье от горя: оба звучали одинаково, как зверь, которому наступили на лапу. Мужчина в рубашке, выглаженной так тщательно, что она казалась бронёй, нашёл своё имя и не поверил. Он попросил соседа прочитать вслух, потом попросил ещё раз, потом сел прямо на кафель и стал смеяться, давясь и всхлипывая, пока смех не превратился в икоту. Двое братьев стояли обнявшись. У одного на табло было имя, у другого нет, и тот, что с именем, не знал, куда девать руки: он держал брата, как держат вещь, которую вот-вот отнимут.

Девушка с тонкими косами дочитала до конца и опустила глаза. Она сняла с запястья бирку, положила её на кафель и придавила каблуком. Пластик хрустнул. Она давила и давила, пока от бирки не осталась белая пыль, и никто не обернулся, потому что рядом так же давили свои. В дальнем углу женщина прикусила собственную ладонь, чтобы не закричать, и на ладони выступила кровь. Где-то заплакал младенец, и плач сразу утонул. Пахло хлоркой, потом и сладковатой кислотой рвоты.

Старик с картонкой дочитал табло до последней строки. Не изменившись в лице, он перевернул надпись. С обратной стороны, тем же аккуратным почерком, было выведено: «Печень. 72 года. Следующая лотерея». Он поправил картонку на груди и пошёл к выходу: до следующего колокола оставался год, а очередь не любит опозданий.

«Кальдерон, Инес».

Инес не закричала. Она стояла очень прямо, потом опустилась на корточки и дорисовала рядом с «А» вторую букву, «Б», как будто урок обязан был закончиться. Мел крошился в её пальцах.

Имя Нико не появилось. Мать читала табло дважды, сверху вниз, ведя пальцем по воздуху, потом в третий раз, быстрее, будто строку можно было нащупать скоростью. Потом подняла глаза, не на стекло и не на Химену, а на дрон-санитар, который плыл над залом и мигал синим огоньком. Мальчик ничего не спрашивал. Он смотрел на свою птицу. Потом разжал пальцы.

Птица не полетела. Она упала на кафель и покатилась, неровная, с одним крылом длиннее другого и без глаза. Дрон-санитар опустился, коротко прогудел, втянул её в себя и унёс, как мусор.

Колокол отзвонил тысячу. Всё сошлось.

Руки у Химены не дрожали. Она посмотрела на них с лёгким недоумением, как смотрят на чужие. На панели осталась полукруглая вмятина от ногтя. Пластик помнил.

Глава 2. Невязка

Тея

Кольцо I · 06:00 по станционному времени

Тишина в квартире Теи Вандерхейден принадлежала классу А: фон не выше восемнадцати децибел, гарантия производителя и строка бюджета «Акустический комфорт, кольцо I», которую Тея утвердила три года назад. Она проснулась за четыре секунды до сигнала, как просыпалась всегда, и лежала, слушая отсутствие звука. Ни шагов за стеной, ни воды в трубах, ни остывающего металла. Станция Ойкумена не скрипела. Скрип означал усталость материалов, а материалы Первого кольца, согласно регламенту, не уставали.

Воздух не пах ничем. Это ценили. После трёх тысяч циклов фильтрации запах считался дефектом, а его отсутствие — признаком хорошо выполненной работы.

Душ она приняла за четыре минуты. Норма кольца позволяла двенадцать, и никто никогда не проверял, но Тея знала себестоимость каждой минуты и не видела причин переплачивать. Бережливость ничего ей не стоила. Это она тоже знала и предпочитала не развивать.

На столе в кухонной нише лежал планшет, тонкая матовая пластина, на которой за ночь осела сводка. Тея пила воду стоя и читала. Читать стоя было её правилом: так не привыкаешь.

Сводная ведомость жизнеобеспечения, цикл 114. Кислород, углекислота, азот, влага, оборотная вода. Приход, расход, остаток. Каждый столбец обязан был сойтись с соседним до последнего знака, потому что станция — система замкнутая, а в замкнутой системе ничто не исчезает: оно лишь переходит в другую графу.

Схема станции на экране выглядела так, как выглядели все схемы, которые она любила: девять концентрических окружностей, три контура, стрелки потоков без единого пересечения. В центре Ядро, залитое тёмно-синим. Дальше, по мере удаления от центра, цвет светлел до серого. Тея ценила эту схему за то, что у каждого кубометра воды на ней было своё место.

Итоговая строка не сходилась.

Невязка по сводному водо-воздушному балансу: 0,70%. Три цикла назад — 0,62. Два цикла назад — 0,66. Тея развернула график. Три точки, и прямая, проведённая через них, имела наклон, который не понравился бы ей ни на одном графике: ни воздушном, ни личном.

— Ошибка агрегирования, — сказала она вслух. Слова упали в тишину без эха.

Определение невязки она знала с первого курса: разность между тем, что обязано сойтись, и тем, что сошлось. Допуск по станции — 0,05%. За одиннадцать лет службы ни одна из её ведомостей не вышла за 0,02, и ни одной претензии от вышестоящих. Это была её гордость, ровная и чистая, как линейка. Теперь число 0,70 лежало в ячейке итога, окружённое нулями, и казалось лишним, как лишний человек на хорошей фотографии.

Центр жизнеобеспечения · сектор 4 · 08:15

Контурный зал Первого кольца напоминал операционную, где никто никогда не болел. Белые панели, белый свет без тени, прозрачные трубопроводы за стеклом: утечку здесь полагалось видеть, а не вычислять.

Инженер-контурщик Лемуэль Тарн встретил её у терминала третьего контура. Ему было около сорока, на вид тридцать: люди Первого кольца вообще выглядели как собственные удачные портреты. Кожа без единого шрама, одинаково ровные зубы, одинаково отдохнувшие глаза. Они не торопились. Те, кому никогда не приходилось успевать, двигались так, словно воздух был чуть гуще обычного.

— Госпожа аудитор. Ранний срез?

— Невязка по сводному балансу. Ноль семь. Растёт.

— Дрейф датчиков, — сказал Тарн слишком быстро. Скорость ответа Тея отметила так же, как отмечала любое отклонение: без оценки, в графе «наблюдение». — Каждый цикл что-нибудь дрейфует. Мы калибруем.

— Дрейф симметричен. Погрешность датчика даёт и плюс, и минус. Эта невязка растёт в одну сторону.

— Тогда систематическая погрешность.

— Тогда назовите источник.

Тарн улыбнулся. Улыбка была вежливой и целиком принадлежала нижней половине лица.

— Назову, как только найду. Нужен нормальный срок. Вы же понимаете.

Она понимала. Срок был нормальным. Поэтому в бланке, в графе «Классификация», она вписала слово «Замечание», помедлила и зачеркнула его. Вместо него встало: «Примечание, класс 3. Вероятная ошибка округления при агрегировании». В классе 3 жили опечатки, расхождения единиц и ошибки округления. Туда же легли её ноль семь.

Ошибки округления симметричны и не растут. Она знала это так же твёрдо, как таблицу умножения. Но в классификаторе не было строки «пока не знаю».

Гипотез было три. Утечка: исключается, контуры прозрачны, любую утечку видно глазом. Дрейф датчиков: исключается, он симметричен. Остаётся ошибка учёта: кто-то где-то записал расход и не записал потребителя. Тогда у расхода должен быть автор, а у автора подпись. Тея любила этот вид поиска больше остальных: в нём всё рано или поздно оказывалось чьим-то. Она запустила фоновую трассировку, чтобы найти ведомость, на которую невязка ссылалась чаще всего. Система ответила «выполняется» и ушла в работу, как уходят под воду.

Террасы · 17:30

К отцу она шла через сады. Сады Первого кольца тянулись по внутренней стороне тора на шесть километров, и свод над ними был подсвечен под закат, который Тея знала наизусть: янтарь на сорок второй минуте, медь на пятьдесят третьей, пепел на шестидесятой.

Магнолии цвели круглый год, по контракту, и пахли так, как пахнет слово «магнолия»: полно, сладко, без примесей. Настоящие цветы пахнут по-разному в зависимости от времени суток, ветра и расстояния. Эти пахли одинаково на любом расстоянии. Концентрация, согласно ведомости ароматических картриджей, составляла три целых две десятых части на миллиард. Закупку подписывала она сама. Тот, кто знает цену каждой розы, не умеет ими любоваться. Это не упрёк, а профессиональная особенность.

Она остановилась у ветки и провела по ней пальцем. Палец вошёл в листву без сопротивления. Листья на долю секунды не заметили вторжения, затем сомкнулись вокруг руки, как вода. Задержка восемьдесят миллисекунд: стандарт. Рядом ветка настоящая, тёплая, слегка влажная, с шершавой корой и подвязкой из зелёной ленты. Граница между живым и проекцией проходила здесь аккуратно, по шву.

Чуть дальше техник в сером комбинезоне торопливо подвязывал ещё одну настоящую ветку. Он был из тех, кого присылали на смену с внешних колец, и оставался единственным человеком на террасе, который спешил. Заметив её, он склонил голову на полтора градуса, ровно настолько, насколько требовал этикет, и вернулся к ленте.

Приложение 9 к Уставу допускало до сорока процентов визуального озеленения «в целях экономии ресурсов». Все это знали. Об этом не говорили, как не говорят за столом о цене подарка. Бюджет был честен: строка на месте, цифра на месте. Честность, которой никто не интересуется, тоже разновидность порядка.

Птицы пели по расписанию: шесть видов, записи, которые переключались каждые девять минут, чтобы слух не привыкал. По дорожкам из полимерного гравия, лишь изображавшего шорох, гуляли люди. Женщина в льняном платье несла бокал воды, как несут свечу. Мужчина

с седыми висками читал на скамье бумажную книгу: бумага стоила как месяц кислорода на одного. Двое подростков смеялись шёпотом. Даже смех в Первом кольце был рассчитан на здешнюю акустику. Тея видела их не лицами, а распределением: возраст, потребление, лояльность. Это не было презрением. Это был способ видеть, которому её научили так рано, что она не помнила обучения.

Вдоль внешней стены, где в проекте значилось «панорамное остекление», окна нижнего вида были затемнены. Опция «Нижний вид» в Первом кольце отключалась по умолчанию. Включить её мог любой житель, подав заявку, и заявок не поступало. Планета висела внизу, огромная, бурая, в белых прожилках, и на неё не смотрели. Это считалось хорошим тоном.

Дом Вандерхейденов · Третья терраса · 19:00

Мартин Вандерхейден встретил её в дверях и поцеловал в висок, быстро и точно, как ставят подпись. Ему было шестьдесят четыре. Серебро на висках лежало ровно настолько, насколько позволяла косметика старения, а руки были руками хирурга, хотя он никого не оперировал, кроме бюджетов. Голос он не повышал никогда. Председателя Совета на станции не боялись. Его слушали, и это ценилось выше.

Стол был накрыт на двоих. Третий прибор убрали одиннадцать лет назад, и скатерть с тех пор лежала ровно.

Когда Тее было семь, отец учил её считать на этой скатерти: раскладывал хлебные крошки группами по пять и просил назвать остаток. «Невязка, — говорил он, — это не ошибка. Это то, чего тебе ещё не объяснили». Тогда она решила, что это шутка.

Мартин всегда называл происхождение блюд, как называют фамилии гостей.

— Рыба из садков седьмого кольца, хлеб из пекарен пятого. Вино наше, третье, с настоящих лоз. — Он наполнил бокал дочери, не глядя: руки знали уровень. — Седьмые в этом году постарались.

Рыба была превосходной. Тея отметила это в той же графе, что и всё остальное.

— Как аудит?

— Рутина. Одна невязка в сводном балансе. Ноль семь.

Бутылка встала на скатерть. Не сразу. Тея заметила, что отец на секунду перестал двигаться, как замечала любую паузу в потоке данных, и не стала записывать. Паузы за ужином не входили в предмет аудита.

— В третьем контуре? — спросил он.

Она не называла контура.

— Да. — Тея положила вилку. — Откуда ты знаешь?

— Оттуда же, откуда знаю, что у тебя складка между бровей, когда ты что-то пересчитываешь. — Он улыбнулся. — В прошлом квартале в третьем меняли датчики. Они вечно сводят проценты в одну ячейку и удивляются, что она переполняется. Округление, Тея. Единственный вид ошибки, который никому не нужен и который есть везде.

Это была хорошая фраза. Он дал ей готовый ответ раньше, чем она успела предложить свой, и она почувствовала то, что чувствует человек, которому подали ответ: облегчение, а следом крохотный зазор между облегчением и убеждённостью. Зазор был в пределах допуска.

— Ты давно была у Ады?

— В четверг.

— Съезди ещё до конца квартала.

— Почему до конца квартала?

— Квартал — удобный срок для всего, — сказал Мартин и подлил ей вина.

Мартин редко давал советы без причины, но и причины называл редко. Тея кивнула.

Планшет в кармане коротко дрогнул. Фоновая трассировка, запущенная утром, дошла до конца. Тея опустила глаза под край стола.

Ведомость 9, «Резервные обязательства». Не основная и не публичная: из тех, что аудиторам первого уровня видны лишь при сквозной проверке. Строка 14: «Кадровое пополнение». Расход воздуха и воды по ней не имел получателя. Он оседал в закрытом контуре без потребителей и с каждым циклом прибавлял ровно столько, сколько не сходилось в её итогах: ноль целых четыре сотых. На полях стоял гриф, которого она раньше не видела: ПРОТОКОЛ КОВЧЕГА. Ниже: «Допуск: Председатель Совета и два члена».

Она подняла взгляд. Мартин резал рыбу. Он резал её так, как делал всё: на равные части.

— Папа. «Кадровое пополнение» в девятой ведомости. Что это?

Он не вздрогнул. Тея потом долго будет помнить, что он не вздрогнул, как помнят, что за дверью было слишком тихо.

— Плановый резерв, — сказал Мартин. — Совет любит смотреть вперёд: рост, кадры, обороты. Скучная бухгалтерия. — Он повернул бокал за ножку на четверть оборота. — Мы с тобой, знаешь ли, единственная семья на станции, которая за ужином говорит о работе. Давай хотя бы сегодня сделаем вид, что это не так.

Это прозвучало мягко и даже смешно. Тея увидела, что тема закрыта. Не захлопнута, а аккуратно закрыта на защёлку, как закрывают дверь в комнату, где спит ребёнок.

— Хорошо, — сказала она.

Он спросил, что она сейчас читает, и она рассказала про трактат по надёжности замкнутых систем. Он выслушал с тем вниманием, которое умел дарить без остатка, и рассмеялся там, где полагалось. Потом, между рыбой и десертом, сказал так, как говорят о погоде:

— Через квартал освобождается место главы службы. Решать не мне, у Совета свои соображения. Но я бы не хотел, чтобы ты отказалась раньше, чем тебя спросят.

— Я не собиралась отказываться.

— Я знаю, — сказал Мартин. — Поэтому и говорю.

Кольцо I · 21:40

Квартира встретила её тем же классом А. Тея села к столу, развернула планшет и записала три факта, как записывала всегда, столбцом. Один: гриф. Два: допуск отца. Три: совпадение прироста с невязкой. Три факта не давали повода для вывода. Вывод требовал трёх независимых источников, а источник был один: её собственная ведомость.

Она открыла бланк утреннего акта и навела курсор на слово «Примечание». Заменить на «Замечание»: две секунды. Следом акт лёг бы на стол председателя Совета. Она закрыла бланк.

Она решила молчать. Не навсегда, а пока. Гриф ещё не факт. Она проверит сама, тихо, в рабочее время, по первичным документам. Это называлось осторожностью. Для трусости в ведомостях Теи графы не было; для осторожности была.

Планшет погас. На полке над столом стоял стеклянный шар с настоящей водой, подарок Ады: внутри лежал сухой лист, который нужно было встряхнуть, чтобы он закружился. Единственный предмет в квартире без функции. Тея держала его в графе «Прочее» и сегодня не смогла бы объяснить зачем.

Она выключила свет и лежала в классе А, слушая. Тишина была безупречной, и именно это почему-то тревожило. Тревогу она отнесла к усталости. Усталость отнесла к классу 3.

Глава 3. Карантин

Химена

Карантинный блок стоял в двух сотнях шагов от центра квот, за второй линией ограждения, и был единственным зданием в округе, которое ничем не пахло. Химена вошла в шесть утра и почувствовала, как нос отпускает: после ночи на дыме, хлорке и чужом поту пустота в ноздрях была почти болезненной. Воздух здесь гнали через четыре фильтра. Он был чист, как отчётная таблица.

Тысячу победителей грузили партиями по сорок. Регламент требовал, чтобы за каждым вылетом стояла человеческая подпись, и подписывал ревизор. Партии формировал алгоритм, и в двадцать третью, на её счастье или несчастье, попали сразу трое: Кальдерон, Рейес, Сальгадо. Остальных двух она подписала ещё раньше, не поднимая глаз.

Партия стояла в стеклянном коридоре, который динамик называл «зоной адаптации». Сорок человек в одинаковых белых комбинезонах без карманов. Кожа розовая, как у младенцев, вымытых слишком горячей водой, волосы мокрые. От людей тянуло лимонным дезинфектантом: единственный запах в здании, и тот был не их собственный.

— Пожалуйста, оставьте личные вещи в контейнере, — говорил динамик женским голосом, мягким, как намыленная ткань. — Контейнеры будут обработаны.

Контейнеры были прозрачными, с белыми крышками. В каждом лежало то, что человек считал собой: деревянный гребень, кисет, фотография в треснувшей рамке, связка ключей от двери, за которой остаются другие. Контейнеры не возвращались. Все это знали, как знали и то, что оттуда не возвращаются люди: билет в один конец и был призом.

Снаружи, за двойным стеклом, стояли их родные. Звук оттуда доходил смягчённым, как далёкий прибой: тысяча голосов, сведённых в ровный гул. Детские ладони белели на стекле растопыренными звёздами. Вдоль пола тянулась жёлтая полоса, и никто не переступал её: единственное правило, которое не пришлось объяснять дважды.

Химена шла вдоль строя с панелью, сверяла лица с манифестом и ни на кого не смотрела дольше, чем требовала сверка.

Томас Рейес, гидротехник. Руки в масле до локтей: отмыть их до конца не смогла ни одна дезинфекция. Он стоял у контейнера, держал в ладонях набор гаечных ключей, замотанный в промасленную тряпку, и смотрел на него так, как смотрят на ребёнка, которого сейчас заберут.

— Нельзя, — сказала сестра в белом.

— Они мне нужнее, чем вам, — сказал Томас голосу, который ничего не понимал.

Он положил свёрток в контейнер. Крышка защёлкнулась. Девять лет этот человек держал на ходу насос на Сото, который давно полагалось списать. «Рейес. Сверено», — отметила Химена.

Инес Кальдерон стояла в третьем ряду. В белом комбинезоне она казалась меньше и моложе, и всё равно было видно, что ей больно стоять. Пальцы шевелились у бедра, ища карман, где раньше лежал мел.

— Забрали, — сказала она, поймав взгляд Химены. — Мел. Сказали, пыль.

— Правила стерильности.

— Я понимаю. — Инес кивнула без обиды. — Стена в подвале у Лопеса. В ноябре её надо перекрасить в чёрный. Пусть кто-нибудь возьмёт.

— Я не умею красить стены.

— Все умеют, доктор. Нужна только жёсткая кисть.

Она помедлила, и Химена увидела вопрос раньше, чем он прозвучал.

— Мальчик Варгас. Нико. Вы не знаете...

— В списках его нет, — сказала Химена. Голос лёг ровно.

Инес ничего не ответила. Закрыла глаза на секунду, как закрывают, когда читают про себя.

Рубен Сальгадо стоял в конце ряда. В комбинезоне он выглядел человеком, одетым в чужую кожу: широкие плечи, костяшки, растрескавшиеся от хлорки и воды, седой ёжик. На запястье новая бирка. Он смотрел не на Химену, а на панель у неё в руках.

— Сальгадо, Рубен, — прочла она. — Партия двадцать три.

— Я не подавал заявку, — сказал он негромко.

Она не подняла глаз.

— Знаю.

— Тогда кто?

Она молчала. Динамик в потолке повторил про контейнеры. Рубен проследил за её взглядом: тот упирался в строку «Хроническая почечная недостаточность, третья стадия». Анализы Химена сняла у него в марте, под видом осмотра кооператива, а заявку заполнила в ту же ночь, подделав подпись, которую знала по сотне ведомостей.

Он понял. По лицу ничего не прошло: у людей, которые каждый день делят воду, лица приучены не выдавать счёта.

— Кто будет делить воду?

— Хосе...

— Хосе делит на троих. На район он не разделит.

— Рубен, у вас отказывают почки. Через год...

— Я знаю свои почки, доктор. — Он не повысил голоса. — Вы знаете, сколько стоит год. А сколько стоит кружка, не знаете.

Люк в конце коридора выдохнул и открылся. Отказ вносился в личное дело, а человек с таким делом не получал ни воды, ни работы, ни места в следующей очереди. Рубен не отказался. Он знал арифметику не хуже неё. Он пошёл вместе со всеми.

Челнок стоял, присосавшись к рукаву шлюза, серый, гладкий, без окон, похожий на личинку. Каждый браслет отзывался у люка коротким «дзынь»: тем же колокольчиком, что звенел над очередью, только лишённым сострадания. Сорок раз. Люк закрылся с тихим выдохом. На панели у Химены загорелась строка: «Партия 23. Подпись».

Она подписала.

Челнок ушёл вверх без дыма и без грома, как пузырь поднимается в воде. За стеклом гул сорвался в вой, потом в нечто, у чего не было слов. Люди смотрели в небо, где ничего не было, только бледная полоса, в которой станция Ойкумена ловила утро, и мало кто знал, ту ли точку они ищут.

Район встретил её звуком. За две улицы до Сото она услышала стук жестяных кружек о металл, частый и злой, как град по крыше, а поверх него голоса, которые не слушали друг друга.

Водный пункт занимал бывшую автомойку: четыре бокса, в каждом по баку, над въездом выцветшая надпись «Чисто за три минуты». Ещё вчера здесь стояла настоящая очередь, змеёй вдоль стены, и у каждого бокса сидел человек с мелом. Рубен ввёл правила так давно, что люди принимали их за погоду: сначала больные и дети. Одна кружка — одна черта на стене. Белая эмалированная кружка с отбитым краем, «мерка Рубена», не обманывала никогда.

Сегодня очереди не было. Была толпа. Она давила в узкий въезд плечом к плечу, и воздух над ней стоял плотный: пот, моча, горелая резина из чьей-то бочки, мокрый бетон и ржавчина, которая здесь всегда пахла кровью. Солнце пробивалось сквозь бурую дымку и жарило затылки. Кто-то плакал. Кто-то выл на одной ноте, привычно, как воют на похоронах. Двое парней катались по бетону, и никто не пытался их разнять.

Раньше драки на колонке гасил Санти: подходил, говорил одно слово, «дети», и все расходились. Санти улетел сегодня утром, в белом комбинезоне. Слово осталось, но человека, который мог его сказать, больше не было.

Химена шла сквозь толпу с пустой канистрой на плече. Люди, узнавая халат, расступались: «Доктор». Пропускали и тут же смыкались за спиной, и она плыла в этой горячей массе, как щепка. Чей-то локоть ударил её в рёбра, и она задохнулась. Кто-то вцепился в рукав и оторвал его до локтя.

На крышке среднего бака сидел человек лет сорока, жилистый, в нарочито чистой майке. На шее на велосипедной цепи висел вентильный ключ, и он перебирал его пальцами, как чётки. Двое с арматурными прутьями стояли рядом так, как стоят у двери.

— Ключник, — сказал кто-то в толпе, не ей, а воздуху.

В руке он держал белую кружку с отбитым краем. Химена узнала её раньше, чем поняла, что узнаёт. «Р.С.», нацарапанное на донышке гвоздём.

— Одна кружка — один жетон, — говорил Ключник толпе, не повышая голоса. — Жетоны у меня. Больных не обижаем, больным две кружки. Всё по справедливости. — Он поднял мерку и посмотрел в неё, как в зеркало. — Хорошая мерка. Не обманывает.

На стене у въезда тянулись ряды белых черт, по пять в связке, ровных, как строчки. Рубен вёл их девять лет. Кто-то размазал по ним что-то бурое, ладонью, во всю ширину, и разводы уже подсыхали.

Насос, державший воду в баках, кашлянул, как человек с чахоткой, и встал. Ключник спрыгнул с бака и ударил ногой по кожуху, как бьют по голове. Насос не завёлся.

— Рейеса нет, — сказал кто-то в толпе. — Рейес бы...

— Рейес улетел, — сказал Ключник. — Починим сами.

Химена стояла в трёх шагах от него, и язык прилипал к нёбу. Она не пила с вечера. Во рту стоял войлок, в ушах тихо звенело.

Мальчик лет шести упал у самых её ног. Его толкнули, он ударился лбом о край бетонного жёлоба, и кровь побежала по брови, по щеке, в рот. Мать подхватила его, не крича: она быстро и ровно считала шёпотом «раз, два, три, раз, два, три», как считают, чтобы не думать.

Химена опустилась на колени. Она не решала: тело решило раньше. Тюбик клея, чистая марля, ладонь на рану. Края разошлись. Нужна была вода, чтобы промыть, и воды не было нигде, кроме фляги в её сумке: полстакана, которые она берегла до вечера.

— Держите голову, — сказала она матери.

Она вылила всё на рану, медленно, до последней капли. Вода стекала розовой, потом прозрачной. Ключник смотрел с бака.

— Бесплатно, доктор? — спросил он. — Это же вода. Так не делается.

— Это моя, — сказала Химена, не глядя на него.

Она свела края, наложила клей, считала тридцать секунд. Пальцы у неё дрожали. Мать мальчика схватила её руку и поцеловала в ладонь, быстро, горячо, и Химена отдёрнулась так резко, что рука скользнула по насосной станине: ржавый фланец прошёл по ладони от основания большого пальца до запястья. Сначала ожог, потом тепло. Кровь капнула в лужу ржавой воды, и два цвета на секунду не смешались.

На поясе завибрировала панель.

«Куратор программы С. Ланглуа просит вас явиться в 15:00. Приоритет: высокий».

Она посмотрела на красную ладонь, на мальчика, на Ключника с меркой в руке. Потом встала и пошла к выходу, и толпа снова расступилась: «Доктор».

Глава 4. Статья расходов

Тея

Служба ресурсного аудита · цикл 121 · 07:10

За семь циклов невязка выросла с 0,70 до 0,98%. Тея выписала число в верхнюю строку рабочего листа и подчеркнула дважды, как подчёркивают то, что нельзя забыть и не хочется видеть.

Кабинет находился на девятнадцатом ярусе служебного блока: четыре метра на пять, белая стеклянная столешница, ни картин, ни окон. Окна создают погрешность внимания. Все эти семь циклов она работала так, как решила в ночь после ужина: тихо, в рабочее время, по первичным документам. Ни одного запроса за пределами своего допуска. Ни одной строки, которую нельзя было бы предъявить любой комиссии. Осторожность тоже имеет методику.

Она начала там, где остановилась: ведомость 9, строка 14, «Кадровое пополнение». Расход без получателя. Такие вещи ищут, как пропавший ноль, по цепочке проводок. Строка 14 уходила в субведомость К-0, субведомость К-0 в паспорт контура, которого не было в открытом реестре. В реестре контур числился «в стадии пусконаладки». Пусконаладка длилась четырнадцать лет.

Паспорт был закрыт, но телеметрия грифов не знает: датчик измеряет давление, а не допуск. Служба аудита имела право читать показания любого контура. Тея прочитала.

Ошибку учёта она больше не считала гипотезой: ошибка при таком росте не остаётся однонаправленной. Оставалась четвёртая, которую в её классификаторе называли «предварительной аллокацией»: ресурс откладывали сознательно.

В К-0 стояли двенадцать резервуаров воды и шесть газгольдеров, соединённые в замкнутую схему без единого потребителя. Заполнение: тридцать восемь процентов. Скорость заполнения совпадала с её невязкой до третьего знака. Она рассчитала корреляцию: 0,998. В её практике такое число означало одно из двух: выдумку или причину. Выдумкой оно быть не могло. Данные были чужие.

В служебных полях контура, не предназначенных для аудитора, но и не защищённых, нашлись две строки: «Расчётная численность: 40 000» и «Срок автономии: 61 год». Заголовок над ними она уже видела. Теперь он выглядел иначе: ПРОТОКОЛ КОВЧЕГА · 40 000.

Цифру она проверила единственным доступным способом: посчитала сама. Сорок тысяч человек, нормы потребления воздуха и воды по Уставу, шестьдесят один год, коэффициент потерь замкнутого цикла. Ёмкость резервуаров сходилась с расчётом до двух процентов. Это было красиво. Тея поймала себя на том, что оценила красоту, и записала это в графу «наблюдение».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.